

А. П. ЧЕХОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

И

РЕДКОЛЛЕГИИ В СОСТАВЕ
С. Д. БАЛУХАТОГО, Е. Д. ЗОЗУЛИ,
М. Е. КОЛЬЦОВА И Г. Б. САНДОМИРСКОГО

ТОМ X

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ „ОГОНЕК“
ЗА 1929 ГОД



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА—1929—ЛЕНИНГРАД

ЧЕХОВ-ФЕЛЬЕТОНИСТ

1

Литература фактов и свидетельств вступает в единоборство с литературой вымысла. Наша эпоха выдвинула фельетон в центр всеобщего внимания.

Росту и успеху советской печати, не отставая, сопутствовал рост и успех фельетона. Именно к фельетону стремится первый взор миллионного читателя, по утрам разворачивающего свежий газетный лист.

В форме фельетона подымались и подымаются у нас самые жгучие вопросы общественной жизни. Фельетоном подхлестываются отстающие участники пересоздания нашей страны в социалистическую. Фельетоном, как каленым железом, клеймятся изменники и враги новых основ жизни, им же, фельетоном, взбадриваются все борцы за новое, передовые строители, отцы больших и малых достижений. Звонкая дробь фельетонных строчек кажется им возвышенней, чем гекзаметры поэм и длинные периоды исторических исследований.

Мощь, дальнобойность фельетона, размах его последствий и общественное обаяние трудно бывает учесть даже самим мастерам фельетона, еще плохо дозирующим свое сильно действующее средство.

Но общественная функция фельетона, заданная как его основная цель, не осталась его единственным признаком. Быстро, почти внезапно фельетон стал замечен как реальная величина на общелитературном горизонте. Возобновились было старые верчливые разговоры о замене доброкачественной художественной книги худой газетной пищей, о вырождении читателя книг в самоновейшего газетного читателя-дикаря, но быстро смолкли. Стало неоспоримо ясно, что центр литературной арены смещается и отодвигается именно в сторону газеты.

Теперь вокруг фельетона кипит «последний и решительный бой». Помимо воли и читателей и авторов его повелительно встает вопрос о признании или непризнании фельетона жанром художественной литературы, со всеми вытекающими отсюда выводами.

Теоретики литературы видят в фельетоне едва ли не раскрытые тайны нового, грядущего на нас жанра, едва ли не выход из

тутина, в который пришли все донны существующие формы художественного слова, уже бессильные обернуть по-новому и переработать для современного читателя материал его эпохи.

Нет ли здесь напрасного восторга усталых путников, отчаявшихся в безводной пустыне исканий?

Каковы истинные органические спайки фельетона с новеллой, рассказом, повестью, драматическим произведением?

В чем сказывается разница в подаче читателю чистого вымысла и документального фактического материала?

Куда растет эволюция сюжетных и изобразительных приемов — от фельетона к «чистому» художественному повествованию или наоборот, от беллетристики в нынешнем смысле слова к фельетону?

Исчерпывающих ответов на все эти проблемы еще нет. Ответы будут нескоро, может быть совсем не будут.

Но мы располагаем прекрасным материалом для предварительных выводов о соотношении фельетона и беллетристики. Новопубликуемые 90 фельетонов А. П. Чехова дают возможность заново, на основе биографической связи проследить близость, родство и соподчиненность методов работы газетно-журнального фельетониста и писателя.

Нужно ли говорить и о прямой, безотносительной ценности этих, новых для читателя, ранних произведений Чехова, интереснейших литературных документов, дополняющих область молодого, пышущего силами «Антоши Чехонте»? Из зазорного фельетониста «Осколков», такого, каким мы узнаем его из лежащих перед нами пачек старых журналов, вылился большой Антон Чехов, крупнейшая фигура, открывающая собой русскую литературу двадцатого века.

2

Присяжный критик и биограф Чехова А. А. Измайлов, посвятивший целую монографию раннему газетно-журнальному его периоду, обследовавший для этого пыльные архивы московской и петербургской прессы, проглядел всю трехлетнюю работу Чехова как фельетониста на общественные темы.

Очень вероятно, что материал был перед глазами исследователя. Во всяком случае Измайлов знал о существовании фельетонов Рувера — таков был псевдоним Чехова по московскому отделу «Осколков».

Что иногда систематические наложения красного карандаша на писания А. П. настраивали его безнадежно, можно видеть из того, что отдел «Московского обозрения», какой он вел из номера в номер, он не раз хотел бросить... Лейкин должен был его утешать! «Вы пишете относительно «Московского обозрения» — не лохерить ли вам Рувера (под таким псевдонимом Чехов обозревал московскую жизнь)? С этим я не согласен и скажу вам прямо:

как бы ни был плох Рувер, он все-таки лучше пишет, чем вся московская братия, до сих пор писавшая у нас в «Осколках».

Но Измайлов решил оставить во мраке забвения фельетониста Рувера и извлечь для потомства юмориста Антошу Чехонте. Поэтому мы находим в единственном, издании марксовой «Нивы», собрании сочинений Чехова всякие мелкие анекдоты и обычную для юмористических журналов третьесортную «смесь» и не находим ни одного из ранних чеховских фельетонов. Только в 1927 году удалось извлечь из газет восьмидесятых годов и опубликовать (библиотека «Огонек») интереснейшую серию судебных отчетов молодого Чехова о знаменитом «деле Скопинского банка». И только теперь, через двадцать пять лет после смерти Чехова, через сорок шесть после первых его дебютов, мы можем представить читателю в подлинных текстах весь фельетонный этап великого писателя.

Впервые извлекаемые нами на свет ранние чеховские опыты общественного фельетона носят общий заголовок «Осколки московской жизни». Они печатались в самом распространенном для своего времени сатирическом журнале «Осколки».

К 1882 году Чехов уже стал замечен на микроскопическом горизонте тогдашней юмористической прессы. Мелочишки, юморесочки, отдельные шутки, щедро поставляемые Антошей Чехонте в «Будильник» и «Стрекову», обратили на себя внимание редактора «Осколков» и широко известного в свое время юмориста-бытовика Н. А. Лейкина. Он приглашает его для сотрудничества в свой журнал, вступает в постоянную личную переписку, часто присылая деньги и аккуратно выплачивая гонорар, что тоже было в то время большой редкостью.

Весну 1883 года Антон Павлович провел в заштатном городке Московской губернии — Воскресенске, где брат его, И. П. Чехов, состоял учителем приходского училища. 23-летний А. П. в это время состоял студентом 3-го курса Московского университета. Возвратившегося в Москву А. П. ждало от Н. А. Лейкина письмо с весьма лестным для него предложением. Н. А. Лейкин на манер отдела «Осколки петербургской жизни», издавна печатавшегося в журнале (отдел этот заполнял известный в те годы юморист И. Билибин — под псевдонимом И. Грек), предлагал А. П. вести отдел «Осколки московской жизни». Конечно, Чехов был весьма польщен таким доверием, но он понимал, какая большая ответственность ложится на него, фельетониста-бытописателя Москвы на страницах столичного журнала. Тем не менее он отважился испробовать свое перо в изображении скучной, монотонной жизни второй столицы Российской империи, и уже в середине июня он посылает Лейкину первые фельетоны, сопроводив их с письмом:

«Посылаю вам московские заметки, а с ними заодно маленькое заявление: пишу я юмористический фельетон впервые. Неопытен и мало сведущ. В актеры я не уйду, мельницей не займусь, но не могу ручаться, что не буду сух, бессодержателен и главное — не юмористичен. Буду стараться. Если годится — берите и печа-

тайте, а если не годится, то... фьюить. Буду высылать вам куплетцы, вы выбирайте и, ради бога, не церемоньтесь. Данною вам от бога властью херьте все неудобное и подозреваемое в негодности. Я щепетилен, но не для «Осколков». Предложи мне эту работу другая редакция, я отказался бы или обошелся бы без этого ваявления, но у вас я слушаюсь и говорю правду. Если вы даже вовсе похерите мои заметки и скажете мне: «Пасс», то и это я приму с легкой душой. Мне дороги не мои интересы, а интересы «Осколков». К «Стрековам» и «Будильникам» я отношусь индифферентно, но печалюсь, если вижу, что в «Осколках» что-либо не вытанцовывается, мое или чужое, — признак, что мне близко к сердцу ваше дело, которое, как мне известно это по слухам и поступкам, вы ведете с энергией и с верой... Не буду слишком мелочен, не стану пробирать грязных салфеток и маленьких актеров...»

Так или иначе, фельетоны Чехова сразу привились и стали появляться в «Осколках» регулярно.

3

...Для начала Чехов щедро разворачивается целым веером тем.

Его привлекает к себе и неподвижный, вязкий московский быт, и театральные, и литературные злобы дня, и изобретатели, и церковная жизнь. Но пуще всего влекут к себе начинающего фельетониста чисто общественные вопросы, области, где можно показать и осудить безнаказанность правительственных или полуправительственных инстанций, эксплуатации бесправного, беспомощного крестьянина, мелкого мещанина, просто обывателя, слепого и безответного, как новорожденный щенок.

Вот фельетон «Московское губернское земство и страхование скота» — яркий, резкий и гневный при своей сдержанной форме и крайне скудном для сатирического журнала заглавии:

«МОСКОВСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО И СТРАХОВАНИЕ СКОТА».

Как-то на досуге, а пророс, наше губернское земство придумало «страхование скота от чумы». А так как и не бывшим в семинарии известно, что никакое страхование без денег не обходится, то и кликнул был клич мужицкой копейке. Мужик откликнулся, согласился и занес за каждую скотскую персону около 20—60 коп. Всего занесено было имущими скот 60 000 русских рублей! Капитал, как видите, ничего себе... Можно из него дело сделать. Земство и сделало. Наняло оно прежде всего старшего ветеринарного врача, с четырех-тысячным жалованьем, и трех младших, с жалованьем в 1 200 руб. каждому. Нанявши начальство, нужно было нанять и подчиненных, иначе непонятна была бы роль начальства. Наняли и подчиненных — по вводу фельдшеров на каждого доктора. Старший врач как нанялся, так и засел в Москве, в центре, чтобы испускать из себя лучи равномерно на всю губернию. Младшие врачи куда-то попрытались. Сбором денег и этим наймом земство и огра-

ничило свою функцию по части страхования. Остальное само собою выдвигалось по следующей юмористической программе: желавший получить страховую премию должен был не позже одних суток уведомить о павшей скотине волость, которая, в свою очередь, не позже трех дней должна была уведомить следующую за ней административную ступень. Эта ступень уведомляла земство. Уведомленное земство в неопределенный срок посылало (циркулярно) на место происшествия гласного и фельдшера, которые должны были констатировать причину смерти: чума, или не чума? Гласный и фельдшер приезжали обыкновенно на 6—7—8 день, когда по законам материи чумная падала должна уже невыносимо вонять, а по законам человеческим — гнить глубоко в земле. Фельдшер, не имея перед глазами пациента, или видя один только разложившийся труп, авторитетно констатировал не чуму, а «неизвестную болезнь». Он сочинял протокол, гласный благословлял земство, заставившее его прокатиться задаром верст 30—40, крестьянин весело чесал затылок и все оставались довольны: много времени, много бумаги, много езды и более всего толку. Прошел род, была чума, и земство не заплатило ни за одного павшего скота... Оно не заплатило и жалуется на невежество крестьян, обещающих в будущем году не лезть в мышеловку... А господа ветеринары сидят и ни гу-гу... Им решительно невдомек: за что они получали жалованье? Фельдшера хоть на пользу науки новую болезнь **выдумали** и протоколы сочиняли, а они-то что сделали?

* * *

Приблизительно смежную тему затрагивает фельетон: «Катастрофа из-за быков».

«КАТАСТРОФА ИЗ-ЗА БЫКОВ».

17-го июня Московско-Курская железная дорога в двух шагах от Москвы бифштекс съела. Заплачено за этот незатейливый «фриштик» ценой, превосходящей даже лошадиные цены на прошлогодней всероссийской выставке. Разбито вдребезги несколько вагонов, побиты люди... одним словом, произошла Кукуевка в миниатюре. Наши собственные корреспонденты, посланные на место катастрофы, видели кашу из обломков, мяса, крови и песку. Они глядели на эту кашу и недоумевали. Недоумения достойно, во-первых, то обстоятельство, что все виноватые налицо. Этого раньше никогда ни на каких Кукуевках не было. Виноватые — быки. Во-вторых, удивительно, что эта маленькая Кукуевка произведена существами неразумными, ровно ничего не смыслящими в железнодорожном деле, не проходившими курса наук и не получавшими жалованья! И с каким знанием дела! Впрочем, как ни недоумевай и не удивляйся, а разница между разумными животными и неразумными все-таки сильно бросается в глаза: неразумные за свое удовольствие заплатили собственными шкурами, а разумные заплатили шкурами, но... только не собственными... Впрочем, «собственность есть воровство», сказал Прудон.

Финал этого дела подан позже отдельным фельетоном:

«РЕЗУЛЬТАТЫ КАТАСТРОФЫ НА М.-КУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ».

Московско-Курская дорога находится в моем районе. Мое, стало быть, дело потолковать о финале именитой Кукуевки. Финал этот не блестящ и ни на грош не эффектен. Никого не засадили, никого не со-слали, никому внушения не сделали, а только взыскали штраф в размере трех тысяч пятисот рублей. Только...

Удовольствие спустить поезд с насыпи и отправить на тот свет сотню человеческих душ стоит, значит, ровно 3 500 рублей. Запишу эту цифру в каталог кушаньев, вин, водок и прочих удовольствий. Авось, когда разбогатею, вздумается побаловаться, пощекотать свое небо дорогим перышком. Для «хорошего» инженера и посредственного железнодорожника бросить pour plaisir какие-нибудь 3 500 руб. так же тяжело, как обыкновенному смертному купить на гривенник персидского порошку. В самом деле, что значат эти 3 500 руб.? Поедет хороший инженер в Стрельну, покушает там стерляжкой уха с кайенским перцем, запьет шампанским, послушает цыганок... Из Стрельны катнет он в первый этаж «Эрмитажа» — вот вам и все 3 500 руб. по самому экономическому счету! Платили мы за ученую свинью клоуна Танти две тысячи, для того, чтобы иметь удовольствие скушать ее, отчего же не заплатить почти столько же за чреватую впечатлениями Кукуевку? Заплатить — раз плюнуть! Лишь бы для вкусового органа оригинально выходило...

Фельетонист, видимо, ищет социальных тем — поскольку можно оперировать ими в атмосфере всеобщей придавленности, апатии и безысходности. В этой атмосфере кажется свежим словом и такой, более чем робкий опыт защиты трудящихся, как тема о приказчиках и мальчиках:

Наши приказчики из кожи вон лезут. Баловникам хочется во что бы то ни стало завоевать себе праздничный отдых. Им хочется в праздники и в тепле посидеть, и на диване повалиться, и по Кузнецкому с тросточкой пройтись. Лет десять выкрикивают они это свое желание устно и письменно, и только на-днях в нашей управе сочинен соответствующий доклад. На этот раз дело, вероятно, выгорит, и приказчики убьют сразу двух зайцев: отдых и сознание, что «наша взяла».

Ну, а мальчики-лавочники? Мальчики останутся на прежних основаниях. Они будут по праздникам, пока лавка заперта, чистить тазы и самовары, выносить помои, нянчить хозяйских детенышей и за все это получать трескучие подзатыльники... Ведь правда? Кошки, собаки и мальчики-лавочники пользуются давней, всем известной «*magna charta libertatum*»: их может бить и увечить желающий домочадец. Нет на мальчике синяков — значит домочадцы на богомолье уехали. Бить ребят можно, сколько угодно и чем угодно. Не хочешь бить рукой, бей веником, а то и кочергой, или мокрой мочалкой, как это делают хозяйки и кухарки. Мальчики ложатся в 12 ч., встают в 5. Едят они объедки,

посят драные лохмотья, засыпают за чисткою приказчиных сапогов. День в холодной, сырой и темной лавке, ночь в кухне, или в холодных сенях, около холодного как лед рукомойника. И этаких «герцеговинцев» не десять, не сто, а тысячи! Спросите-ка их, рады ли они тому, что по праздникам не будет торговли? Они ответят «нет». В лавке сидеть для них много легче, чем дома. В лавке мальчику трудно, но тут он сознает, что он дело делает, и знает одного только хозяина, дома же он маленький каторжник, угождающий даже пожарному, который по праздникам шляется к кухарке. Он рад и не почевать бы дома, коли б можно было, а не только что справлять там свои праздники. На эту тему можете всласть потолковать с любым приказчиком, пережившим мальчишество.

Итак, приказчики будут отдыхать! мальчики же наоборот. Приказчикам грешно не повоевать за своих маленьких товарищей.

Нам покажется наивным и даже глупым выставление несчастного, забитого московского торгового приказчика восьмидесятих годов как «баловников», как социально обеспеченную группу. Но нужно представить себе обывательскую среду, в которойращался молодой Чехов, чтобы даже защита обиженных «мальчиков» перед «торжествующими» приказчиками показалась чуждостью обозревателя «Осколков».

Иронией пропитан фельетон о другой социальной «категории», достойно украшавшей старую Москву. Но и тут подход автора крайне наивен, чтобы не сказать больше.

«НИЩИЕ В МОСКВЕ».

Когда (лет через 1 000) на нашей планете не будет нищих, а будут одни только сытые да одетые, тогда, естественно, не на что будет жаловаться. Все будут довольны: и ирландцы и самарцы. Не будут довольны одни только москвичи. Москвич не может жить без нищих. Нищие для него такая же насущная потребность и такое же баловство, как и целодневное чаепитие. Он наймет людей в нищие, если только наука и время похерят пролетариат. Трудно себе и представить замоскворецкого человека или его половину без длани, протянутой к «блаагородному... в 30 боях бывшему, отцу семерых детей»... Москвич подает, как дитя, не рассуждая и не утруждая себя никакими теориями о тунеядстве и проч. Он подает всем без различия званий, телосложений и возрастов — в этом внутренняя сторона его милости. С внешней же стороны она помпезна и парадна, как 4-е действие в «Фаусте». Беда, обрушившаяся на нищих на похоронах богача Губкина, известна вам уже по газетам, а потому иду далее...

Осмысленнее и удачнее пробует свои силы двадцатитрехлетний фельетонист на выпадах против бюрократизма.

«СУДЕБНОЕ ДЕЛО Г. А-ВА».

Не будь мы их officio проповедниками морали, мы, пожалуй, не стояли бы так за жеритьбу. Для себя, по крайней мере... Дело тяжелое и трудное во всех пунктах. Это я, холостяк, узнал только на-днях. Некому г. А-ву, холостяку, удалось денёка два-три побыть женатым, не женись и не видя жены, и вкусить всё сладости семейной жизни. Точно во сне, или под влиянием опия. Я не брежу, а говорю сущую правду. Г. А-в получил через судебного пристава московского окружного суда повестку и копию с прошения, в котором некая г-жа А-ва, его однофамилица, называя его супругом, требует от него паспорт и ежемесячное содержание. По прочтении прошения, г. А-ва взяла оторопь: за что? как? Никогда не был женат и вдруг подавай ежемесячное содержание!.. Написал он жлесупруге письмо и полетел по всем присутственным местам. Летал три дня и три ночи, пока не узнал, что был принят за своего однофамильца. Дело объяснилось ошибкой судебного пристава, которому впредь советуем не ошибаться. Ушло много времени, потрачено много беготни и многое множество денег на извозчика. А-в лежит теперь на диване, дрожит и охает. Он не успел еще прийти в себя. Ну, а что было бы с ним, если бы он был женат не три дня, а тысячу дней, да еще взаправду?

«НАЛОГ НА БОЛЕЗНИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ДИРЕКЦИЕЙ МОСКОВСКИХ ТЕАТРОВ».

Дирекция наших театров додумалась до того, до чего не додумался бы ни один ученый финансист. Она изобрела налог на болезни. Были у нас на Руси всякие налоги, прямые, продольные, поперечные, косвенные, а о налоге на болезни не гласит даже и предание. Даже Иван Калита и татарские баскаки не имели понятия об этаким налоге. По последним выводам нашего театрального финансового права, всякий артист, не явившийся на репетицию по болезни, обязан поплатиться частью своего жалованья. Медицинское свидетельство в расчет не принимается. Схватит артист тиф — штраф, оторвет у артиста локомотивом ногу — штраф, стукнет его кондрашша — тоже штраф... Не так давно у артиста Н. умер ребенок и заболела с горя жена. То и другое довело г. Н. до такого нервного расстройства, что он перед одной из репетиций был найден без чувств и приведен на репетицию в самом неартистическом настроении. За это настроение и за опоздание на него был наложен штраф...

Остается теперь только сочинить таксу для болезней. Болезни бывают маленькие, средние и большие. За маленькие будут брать меньше, за большие больше. Порок сердца дороже катарра желудка, а катарр желудка дороже носового кровотечения. Больше всего будут брать за послеродовые состояния (не с мужчинами).

Молодой Чехов остро чувствует казенную рутину, проникающую повсюду, и не стесняется обнаружить ее в таком в ту эпоху весьма уважаемом в обществе учреждении, как знаменитая «Строгановка».

«К 50-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ УЧИЛИЩА ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА».

Наша маленькая Академия Художеств может принять уверение в глубоком уважении. Я говорю об «Училище Живописи, Ваяния и Зодчества», которое 1-го октября празднует свой пятидесятилетний юбилей. Академия наша маленькая, пассующая в сравнении с петербургской, но чреватая. Хотя она мала, хотя в ней нет ни одного генерала — профессора, нет даже ни одного немца, но о ней стоит сказать хорошее слово... Существует училище относительно еще не долго, но в нем уже успели накопиться сказания и предания. Много разного народа перебивало в нем за 50 лет. Были в нем знаменитые профессора, достославные инспектора, именитые натурщики и популярнейшие ученики. Из профессоров следует отметить основателя училища Маковского, отца теперешних Маковских, Пукирева, Перова, братьев Маковских, братьев Сорокиных, из которых один отлично знает анатомию, а другой пахнет ладаном и смирной. Приишников, съедающего ежедневно по огромнейшему куску кровавого мяса, спартанца в искусстве и, в общем, милого человека. Инспекторов, вся инспекторская функция которых состояла из одного только подписывания расписания экзаменов, было много, но из них особенно интересны: покойный Зарянюк, писавший очень хорошенючие головки, хохлописец Трутовский, который от малых ушел и до великих не дошел, и целомудренный Випер. Этот Випер, негодуя на олимпийских богов за то, что те не носили брюк и фраков, произвел всем училищным статуям возмутительную операцию, до которой не додумался бы даже сам Савонаролла. Фидий побил бы его, разумеется, если бы был жив. Из натурщиков особенно знаменит Петр Егоров, вбивавший в землю тумбу одним ударом кулака, и Иван, вынимавший обратно из земли эту тумбу. Ученики такие же ученики, как и везде. Рисуют, не ладят с науками, любят грешным делом спнапс-тринкен, не стригутся, по анатомии не идут дальше затылочной кости... вообще милые люди. Впрочем, у них есть нечто специфическое, отличающее их от других учеников: быстро расцветают и быстро увядают. Делаются они знаменитостями тотчас же при переходе в натурный класс. О них кричат, пишут о них в газетах московских и питерских, покупают их картины, но получают они медальку и — все погибло. На середине пути стушевываются и исчезают, исчезают бесследно. Увы! Недавно кричали про авторов Мессалин, Днепровских порогов и проч., а где теперь эти авторы? Где теперь одноусый Волков, шаровидный Коптев — аномалист, писавший тапиров вместо лошадей? Где Эллерт, Янов, Левитан et tutti quanti? Где они?

Конечно, фельетонист, соответственно своей роли, увлекается столкновениями и борьбой в литературной и общественной среде. Теперь тогдашние «злобы» кажутся нам бурей в стакане воды, но Рувер относится к ним с подобающим увлечением.

«НОВЫЕ ХРИСТИАНЕ «ЛЕОНТЬЕВА».

Знающих людей в Москве очень мало; их можно по пальцам перечесть, но зато философов, мыслителей и новаторов не оберешься — чортова пропасть... Их так много, и так быстро они плодятся, что не сочтешь их никакими догарифмами, никакими статистиками. Бросишь камень — в философа попадешь; срывается на Кузнецком вывеска — мыслителя убивает. Философия их чисто московская, топорна, мутна, как Москва-река, белокаменного пошиба и в общем яйца выеденного не стоит. Их не слушают, не читают и знать не хотят. Надоели, претенциозны и до безобразия скучны. Печать игнорирует их, но... увь! печать не всегда тактична. Один из наших доморощенных мыслителей, некий г. Леонтьев, сочинил сочинение «Новые христиане». В этом глубоко-мысленном трактате он силится задать Л. Толстому и Достоевскому и, отвергая любовь, вызывает к страху и палке как к истинно русским и христианским идеалам. Вы читаете и чувствуете, что эта топорная, нескладная галиматья написана человеком вдохновенным (москвичи вообще все вдохновенны), но жутким, необразованным, грубым, глубоко прочувствовавшимся палку... Что-то животное сквозит между строк в этой несчастной брошюре. Редко кто читал, да и читать незачем этот продукт пedomыслия. Напечатал г. Леонтьев, послал узаконенное число экземпляров и застыл. Он продает, и никто у него не покупает. Так бы и заглохла в достойном беславии эта галиматья, засохла бы и исчезла, утопая в Дегте, если бы не усердие... печати. Первый заговорил о ней В. Соловьев в «Руси». Эта популяризация тем более удивительна, что г. Леонтьев сильно нелюбим «Русью». На философию г. В. Соловьева двумя большими фельетонами откликнулся в «Новостях» г. Лесков... Не тактично, господа! Зачем давать жить тому, что по вашему же мнению мертворожденно? Теперь г. Леонтьев ломается: бурю поднял! Ах, господа, господа!

Улыбку вызывают у нас и «грозные» стрелы сарназма, щедро выпущенные фельетонистом против каких-то далеких для нас «Света и теней» и их редактора-изобретателя:

«ПУШКАРЕВ И ЕГО СВЕЧА».

«Свет и Тени» светили, светили, наводили тень, наводили и вдруг — чирк всеми спичками сразу! Редактор этого смиреннейшего из журналов, г. Пушкарёв, не довольствуясь всеми ныне существующими источниками света, взял да и выдумал новый светильник. О его изобретении говорили уже в газетах, а скоро появятся и целые объявления, гласящие о свече, не дающей ни копоти, ни запаха, горящей до бесконечности, зажигающейся при одном только слове «зажгись!» и стоящей полторы копейки. Свеча, говорят, новая, необыкновенная... Сам г. Пушкарёв стал тоже необыкновенным: глядит Эдисоном, окружен заказчиками и фабрикантами и прикидывается непомнящим родства, когда заговаривают об его журнале. Новый Эдисон был бы любезен нашему московскому сердцу, если бы мы не знали за г. Пушкарёвым одного грешка: во время оно у него были интрижки с музой. Мы до сих пор помним эту

строгую, серьезную, несколько желчную музу, ничего общего не имевшую с фабрикантами и заказчиками. Жил он с нею в мире, согласии и любви, утешая не одних только родителей, а потом взял и развелся с ней ни к селу, ни к городу. Занялся теперь свечкой, а поэзию совершенно похерил. Немножко жаль... Мы не сказали бы ни слова, если бы поэтики почтового ящика, бросив свои стихи и постскриптумы о гонимом, занялись свечами, хотя бы даже сальными... Тут мы на стороне пользы. Новый же Эдисон много проиграет, если не разведется со свечой и не возвратится к музе. Его муза не давала ни копоти, ни запаха, освещала ярче и шире любой свечи и была уже делом в шляпе, а насчет его свечи бабушка еще надвое сказала и на небе вилами писано... Чего доброго, потребуется для одного только воздухоплавательного снаряда г. Костовича и больше ни для кого...

О простоте нравов в эпоху Рувера можно судить по тому, что пишет московский корреспондент своему редактору вскоре после фельетона:

«Был на днях у Пушкирева на даче и просил место (для напечатания рецензии о книжке Лейкина «Караси и щуки») в «Мирском толке» и покаялся, что попросил. Было бы мне без спроса взять и напечатать. Он, видите ли, на мою заметку о его свече разобиделся, за незнанием автора заметки бранит вас...»

Количественно больше всего фельетонов посвящает Рувер театральной жизни Москвы. Нельзя сказать, чтобы здесь мы находили серьезный или хотя бы внимательный подход к работе московских театров. Фельетониста увлекают главным образом театральные скандалы и казусы, особенно — приключения знаменитого содержателя «Эрмитажа» Лентовского, которым вся московская журналистика питалась ежедневно как дежурным блюдом, подобно нашему «Чемберлену». Вот образец такого «обличительно-театрального» фельетона, весьма принятого в тогдашней прессе:

«МОСКОВСКИЕ УВЕСЕЛЕНИЯ».

Теперь, с вашего позволения, о наших увеселениях. Много писать о них не придется. Один «Эрмитаж» — только. Есть у нас где-то у чорта на куличках ренессансы и альгамбры, но они никем не посещаются. Изредка разве забредет в них запоздалый приказчик, да и тот сплур. «Эрмитаж» — и больше ничего. Минимальная плата за вход в сад, с правом попотеть в театре, рубль с четвертаком. Деньги немалые, но зато вы увидите и услышите многое. Во-первых, вы увидите оперетку. Во-вторых, увидите дамские шляпы а la brigand, заслоняющие собой все эрмитажные солнца. Шляпы эти непрозрачны, и зритель видит, что называется, кукиш с маслом: ни сцены, ни театра, ни публики... Вы услышите русский хор, тянущий несколько лет подряд одну и ту же русскую канитель, г. Гулявича, именующего себя на афишах в скобках «автором», по тем не менее рассказывающего анекдоты времен Антония

и Клеопатры, забеременевшей в 50 г. от Юлия Цезаря. Вы увидите гимнастов, ужасно толстого швейцара, фейерверк (раз в неделю) и, на закуску, самого г. Лентовского с его палкой, цыганско-тиральским костюмом и волосатым декольте, напоминающим Навуходоносора в образе зверином. Если же вам и этого мало на рубль с четвертаком, то вам предоставлено и еще одно удовольствие: поплясать от радости, что вы не дама и что вам не нужно поэтому заглядывать в женскую уборную. Я, не имея чести быть дамой, ни разу не был в уборной, но многое рассказывали про нее супруги и дочери. Там, в уборной, свой буфф. Описывать этот буфф значит дать возможность любителям клубнички лишний раз облизнуться. Действующие лица — рижские и гамбургские граждане. Они не выходят из уборной ни на минуту. Ни на минуту не умолкают пинические остроты, площадная ругань, жалобы на неудачи с «этими мужчинами» и проч... Это для дам! Сегодня же не позволю своей супруге ходить в «Эрмитаж»!

«АЛЬБОМ ЛЕНТОВСКОГО «ВЕСНА-КРАСНА».

Про Лентовского можно целую книгу написать. Это замечательный человек. Когда он умрет, ему непременно монумент поставят. Он и актер, и антрепренер, и многих орденов кавалер. Он играет, хлопочет, бегает по саду, нюхает подносимые ему фимиамы, читает «покорнейшие» стихи, стреляет в своем саду галок, превращает дерзких «в битое мясо» (его выраженье!) и... все что хотите. Неугомонный человек пустился даже на издательство. На днях вышел в свет его альбом «Весна-красна». На 15 листах изображено известное аллегорическое шествие, давшее имя альбому, на 16-м же изображены стихи. Стихи хороши, но... бывают и лучше. Напечатаны стихи на отдельном листке и легко вынимаются из папки — *varient! sat!* Альбом в общем весьма недурен. Говорят, что он стряпался в Москве. Не верится, г. Лентовский! В Москве не состряпашь такого альбома. Лубков сколько угодно может дать белокаменная, а порядочного издания она отродясь не давала. Альбом со всех сторон русский, но дело, надо полагать, не обошлось без вмешательства западных держав. Великолепная виньетка и таковые же рисунки подписаны неким Ф. Шехтель. Кто сей? Знаю я всех московских художников, плохих и хороших, но про Ф. Шехтеля не слыхал. Держу пари на 5 руб. (кредитными бумажками), что он иностранец. Во всяком случае, хвалю. В заключение рекламы предлагаю р. Лентовскому прицепить к своей цепи новую брелочку. Аксис!

Для курьеза приводим суровые строчки, которыми наградил тогда молодого артиста А. И. Южина еще более молодой, но ужасно грозный рецензент Чехов:

«ЮЖИН В «ГАМЛЕТЕ».

А у г. Южина нет разума. Иначе бы он не дерзнул со своей фигуркой и со своим писарским голоском лезть в Уриаль Акосты. Гово-

рят, что он собирается также изобразить смеха ради и Гамлета. Недурно бы сделал юноша, если бы сообщал вопрошающей Эрато, сколько ему лет. Забылся малый...

* * *

Круг тем первого года фельетонной работы Чехова замыкается чисто бытовыми набросками. Они лучше всего удавались Рувнеру. В них сверкают веселая наблюдательность, яркий, крепкий язык, меткие и зубастые характеристики неприятельных персонажей старой «матушки-Москвы».

«МОСКОВСКИЕ ГРОБОВЩИКИ И СВАХИ».

Видеть у себя в доме покойника легче, чем самому помирать. В Москве же наоборот: легче самому помирать, чем покойника в доме у себя видеть. Самый большой ерш, ставший поперек горла, не производит на мои нервы такого сильного, душашего впечатления, какое производят московские похороны (да и вообще все имена существительные, кончающиеся на «ны» и требующие выпивки, не обходятся даром московским первам). Закапывая своего домочадца, москвич впервые только узнает, как почерствел, застыл и искулачился московский мерзавец, и перестает удивляться тем госпитальным солдафонам и «скубентам», которые мертвецов режут и в то же время колбасу едят... Например.

В 3—4 часа дополуночи кончается чья бы то ни было жена. Не успеет она испустить, как следует, последний вздох, как в передней уже слышится звонок, и в дверях показывается красный нос гробовщика. Красному носу указывают на все неприличие его раннего прихода. Нос не смущается и замечает: «Самые лучшие-с... На их ростик, глазетовый ежели, на ножках... тридцать пять рублей-с...» Гробовщика гонят, за ним является другой, третий, четвертый... и так до полудня. В промежутках между гробовщиками вползают читалки — мелкие существа, похожие на черных тараканов и сильно пахнущие деревянным маслом и еловыми шишками. Откуда они так рано прослышали о смерти и из каких щелей выползали — бог весть. Без них обойтись как-то неловко, торговаться некогда — приходится волей-неволей соглашаться с их «ценой без запроса». Далее следуют: ненужная возня в квартале, наем линейек и певчих... покупка могилы — все это грубо, алчно и пьяно, как Держимова морда, которому не дали опохмелиться. А потом, когда уже, кажется, все кончено, когда друзья, приятели и непомнящие родства сродственники с сизыми носами съедят традиционную трапезу, пожалует последний визитер, апогей московского мерзавчества, — сваха, предлагающая вдовцу свои услуги...

Вот они где, разрушители эстетики!

«ЖЕНИХИ И НЕВЕСТЫ В МОСКВЕ».

Женихов, женихов и паки женихов!!!

Это не победный крик, не крик восторга, а вошь истерзанной души, вопль с тремя восклицательными знаками, трижды в рукописи подчеркнутый, слезою соответственную орошенный.

Увы и ах, ах и улы!

Зри учебник по истории: издревле Питер славился статскими советниками, Тула, — самоварами, Вязьма — пряниками, Тамбов — тетками, Москва — невестами... Слава была неизмерима: спрос превышал всякие ожидания. Все спрашивалось и все потреблялось на зависть иностранцам, как ни в одной стране. Но настали иные времена, всплыли на свет божий иные нравы. Наступил всеобщий застой. Общее понижение спроса и падение курса не коснулись одних только статских советников, пряники же, самовары и невесты стали падать в цене и залеживаться. Не так обидно за пряники и самовары, как за невест. Мужчины точно перебесились, или же все оптом обет девства дали: не женятся, хоть ты им кол теши на голове! Их просят, умоляют, кормят обедами, манят приданым, но все тщетно... Процент старых дев все растет и растет..

«ЖЕНИХИ И НЕВЕСТЫ НА ДАЧЕ».

Каждое лето москвички решаются «еще на один последний шаг» и читают «еще одно последнее сказанье...» Они едут на дачи. На дачах они постыятся «для талии», трепещут перед загаром и ждут, Паленьки терпеливо сыпят деньгой, маменьки просят знакомых представить им «этого молодого человека», молодые люди на правах женихов преисправно съедают даровые обеды и вечернюю простоквашу, дипломатия работает во все лапки, но... все это тщетно. Женихи себе на уме. Он уйдет с ней в лужище пискарей, ездит в город с поручениями, невинно амурничает, но не более и не далее. Этак тянется весь май и первую половину июня. В конце июня и в июле дачницы теряют терпение и делают еще один последний шаг: где-нибудь, в Богородском, примерно, или Сокольничьем кругу они сообща затевают бал. Женские языки бьют в набат. Загорается подписка. Как из-под земли вырастают распорядители бала (пламенные блондины с цветками в петличках — большею частью братцы невест) с предложением купить билетик. Собирается сумма, нанимается оркестр — и бал готов... Но и это оказывается тщетным... Балы посещаются одними только гимназистами-подростками да младшими чиновниками межевой канцелярии. Гимназисты и межевые чиновники милые люди, но все-таки обидно.

Говоря по совести, женихам не следовало бы вилать и ломаться. Где нет браков, говорит наука, там нет населения. Это надо помнить. У нас еще Сибирь не заселена.

«МОСКОВСКИЕ ВОДОВОЗЫ».

Кстати еще о воде. Не будь разбойник Чуркин разбойником, он наверное был бы московским водовозом. С этим, вероятно, согласится и Н. И. Пастухов, обличающий неукоснительно по субботам именитого душегуба. Московский водовоз в высшей степени интересная шельма. Он, во-первых, полон чувства собственного достоинства, точно сознает, что возит в своей бочке стихию. Луна не имеет жителей только потому, что на ней нет воды. Это понимает он, наш водовоз, и чувствует. Во-вто-

рых, он никого не боится: ни вас, ни мирового, ни квартального. Если вас произведут в генералы, то и тогда он не убоится вас. Если он не привезет вам воды и заставит вас пройти за стаканом воды в трактир, вы не можете протестовать. Жаловаться негде и некому — так дело обставлено. Приходится очень часто сидеть без воды по три-четыре дня, а ежедневно выслушиваешь жалобы супруги на то, что «мерзавец Спиридон» слил вместо условленных десяти ведер только пять. Недоплатить Спиридону нельзя: разорется на всю кухню и осрамит на весь дом. Прогнать его и нанять другого водовоза тоже нельзя. Дворник на это не согласен. Подкупленный блюститель не пустит нового водовоза в вашу квартиру, да и сам новый водовоз ни за что не согласится отбить хлеб у «собрата по перу»: около «хвانتала» водовозы отколотят его за измену — таков устав у них. При таких уставах остается только удивляться, как это до сих пор в Москве не нашлось такого ловкого человека, который сочинил бы водовозную монополию, что-нибудь вроде водовозной артели? При описанных порядках миллион нажить — раз плюнуть...

В общем таков первый год работы Антоши Чехонте как фельетониста. В следующий год Рувер развернул свои силы более широко. Он атаковал ряд тем, по тому времени считавшихся серьезными и общественно-обличительными. И уже тогда, за юношеской бойкостью молодого журналиста, следящего за жизнью на лету, стал вырисовываться облик будущего Чехова, зорного и неумолимого анатома своей темной и мрачной эпохи российского безвременья, иначе говоря — периода «азиатского капитализма» с его самыми тяжелыми и уродливыми формами угнетения человека.

Михаил Кольцов.